

Сергей
Понизин

ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ



Я хотел оставить
детям и внукам
записки — может,
когда-нибудь
они *пригодятся*
им на их жиз-
ненном пути...

Довженко для всех
нас был понятием
не земным — святым.

Жаров — это
обаяние, улыбка,
смех, анекдот...

Не всем компози-
торам дано спеть
свою песню так,
как это умел делать
Ян Френкель.



Судьба по-русски

Зеркало памяти

Евгений Матвеев
Судьба по-русски

«Издательство АСТ»

2022

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Матвеев Е. С.

Судьба по-русски / Е. С. Матвеев — «Издательство АСТ»,
2022 — (Зеркало памяти)

ISBN 978-5-17-145507-1

Свои воспоминания знаменитый актер и режиссер Евгений Матвеев назвал «Судьба по-русски». В нем символично соединились названия двух самых знаменитых его фильмов «Судьба» и «Любить по-русски». И жизнь, и судьба, и помыслы Евгения Матвеева не отделимы от судьбы России. Ее он защищал в годы Великой Отечественной, ей посвятил свою жизнь, ей служило его искусство. Любовь к России, к Родине – это и есть судьба Евгения Матвеева.

Книга содержит ненормативную лексику В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-145507-1

© Матвеев Е. С., 2022
© Издательство АСТ, 2022

Содержание

От автора	6
Балалайка	9
А бретл мет а лох	11
Штаны и... Довженко	16
Суслик	20
Трибунал	22
Яблоки	26
Кто ваша жена?	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Евгений Матвеев

Судьба по-русски

Дизайн серии Андрея Фереца

В оформлении книги использованы фотографии из личного архива автора и ФГУП МИА «Россия сегодня».

Издательство благодарит Павла Соседова за помощь в подготовке книги



Серия «Зеркало памяти»

© Матвеев Е. С., наследники

© ФГУП МИА «Россия сегодня»

© ООО «Издательство АСТ», 2022

* * *

От автора

История этой книги долгая. Началась она лет пятнадцать – двадцать тому назад¹, когда ко мне обратилось одно из крупных московских издательств с предложением написать книгу. Я категорически отказался. И мотивировал это просто и откровенно: «Никогда не брал в руки перо (режиссерская работа со сценарием – совсем другое дело), не знаю, может ли у меня получиться что-то стоящее. И вообще, кому это интересно – мои размышления об искусстве, мои воспоминания? Моя жизнь – в моих ролях, в моих фильмах». Да и времени тогда у меня не было: я был занят большой и интересной работой. Так что отказался и забыл думать о книге. Но, видимо, в душу после предложения издательства все же что-то запало.

Толчок к написанию воспоминаний мне дала сама жизнь. В начале перестройки, когда, как говорят, «подули ветры перемен», состоялся печально известный своими разрушительными последствиями, «революционный» Пятый съезд кинематографистов, перевернувший во мне все. Я был так воспитан, что считал: революция – это обновление, весна, новая жизнь. Но то, что произошло на съезде!.. Да, революция разрушает старое во имя нового, лучшего, но не такой же ценой!

В президиуме съезда сидели двадцать пять убежденных сединой мастеров советского кино, создавших ему не только всесоюзную, но и мировую славу. Сергей Герасимов, Сергей Юткевич, Григорий Чухрай, Юлий Райзман, Сергей Бондарчук... И всех их «разметали», называя генералами от кино, баловнями системы, властей, объявили чуть ли не врагами кино, тормозящими его развитие! И кто объявил? Те, кто после «обновления» так ничего и не смог создать достойного прежней славы нашего кино... Вот и имеем то, что имеем... Поистине, разрушать – не строить.

Досталось и мне. Я до такой степени был потрясен случившимся, той бесцеремонностью по отношению к признанным мастерам, а если говорить напрямую, то откровенной наглостью, хамством, злобной завистью, что все пытался понять – в каком же состоянии души «революционеров»-гонителей? как такое могло в них таиться столько лет?

Для меня это был страшный удар! Сознаю: тогда я решил, что мир рухнул, солнце померкло. Зачем и для чего жить? Все, сделанное мною прежде, никому не нужно? Боль, отчаяние были такими нестерпимыми, что, если бы не дети, внуки, со мной могло бы произойти самое страшное: я был близок к тому, чтобы наложить на себя руки. Жизнь, моя работа, фильмы, роли – все потеряло для меня смысл...

Но не зря говорится, что время лечит. Боль постепенно утихала, но, конечно, не проходила. И вот, чтобы занять себя чем-нибудь, чтобы осмыслить для самого себя свою жизнь, все, что пережил, что удалось или пока не удалось сделать, я решил начать писать. Нет, не книгу, а просто рукопись для детей и внуков. Мне тогда подумалось: а что, собственно, они знают про то, как жилось и живется их деду и отцу? О моей жизни они должны узнать от меня самого, а не из газетных и журнальных публикаций, среди которых было немало предвзятых, недоброжелательных, полных слухов, сплетен, домыслов. Ведь я видел за свою жизнь очень многое – и то, что приводило меня в восторг, и то, от чего делалось страшно... Почему бы не поделиться этим? Я хотел оставить детям и внукам записки – может, когда-нибудь они пригодятся им на их жизненном пути... Естественно, ни о каком издании книги я тогда и не думал, просто сидел и писал о том, о чем хотелось рассказать. Но жизнь в очередной раз нанесла мне удар: те триста страниц, которые я награфоманил, у меня украли...

Известно, что в жизни ведь как бывает? – печаль и радость ходят рядом. Так и со мной случилось. В это время ко мне обратилось еще одно издательство с просьбой издать у них

¹ Воспоминания печатаются по изданию: Матвеев Е. С. Судьба по-русски. М.: Вагриус, 2000.

мою книгу: видимо, они узнали, что я работал над воспоминаниями. Я признался им, что говорить-то не о чем, рукописи, увы, нет. Они были настойчивы: «Неужели ничего не осталось? Ни заметок, ни черновиков?»

Я попросил дочь Светлану: «Поищи, посмотри, может, где-нибудь что-нибудь сохранилось?» Дочь стала искать, нашла какие-то копии глав, лишь часть того, что было написано мною раньше.

Я показал это в издательстве и был удивлен, что они приняли. Вскоре вышла миниатюрная книжечка. Дальше – больше. Раздался звонок из издательства «Вагриус» с предложением написать большую книгу воспоминаний. Рука снова потянулась к перу...

Теперь у меня появилась уверенность, что все, о чем я могу рассказать, кому-то действительно интересно. Кроме того, я подспудно чувствовал за собой вину перед зрителями – теми, кто в течение многих лет присылал мне свои письма (порой, после выхода очередного фильма, я получал их по 10–15 тысяч), где они задавали мне много вопросов. Конечно, ответить на каждое письмо я не мог – это было нереально, поэтому посылал только по возможности открытку со своим портретом.

Из этих писем, а также из устных вопросов, которые мне задавались из зала во время многочисленных встреч со зрителями в кинотеатрах, клубах, на телевидении, я извлекал зерна интереса людей к тем или иным темам. И решил – книга моя будет ответом на те вопросы зрителей. Даже если я отвечу в ней пусть только на часть того, о чем меня спрашивали, то буду считать, что выполнил свою задачу.

По сути дела, книга эта – наше общее со зрителями творчество, потому что импульс, толчок рассказать о том или этом идет от них, моих почитателей. Спасибо им...

Вопросы зрителей были разными – и главы книги получились разными. Один вопрос требует пространного ответа, на другой можно ответить кратко. Этим и объясняется, что главы в моей книге не равнозначны. Прошу читателя быть снисходительным и позволю себе вспомнить известные всем нам со школьной скамьи строки русского гения:

Прими собрание пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав.
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Как и люди, книги не должны быть похожими друг на друга. Мне, например, гораздо интереснее человек с неповторимым обликом, неповторимым характером, особым образом мыслей. Так и книги – в них должна ощущаться индивидуальность их авторов. Я прочел немало мемуарной литературы и обнаружил, что большинство воспоминаний написано по обычной схеме: родился, учился, женился, работал, встречался... А мне хотелось, чтобы моя книга хоть чем-то отличалась от подобных мемуаров.

Мне захотелось показать на ее страницах работу художника, творца, рассказать о своих наблюдениях и впечатлениях, что остались в моей актерской «записной книжке» – той, что хранится в душе, в сердце, а не в кармане пиджака.

Откуда мы, актеры, берем то, что выносим на экран? Из наших наблюдений за жизнью, за людьми. Можно хорошо выучить текст роли, сыграть старательно, даже с мастерством то, что написано в пьесе, в сценарии, но для настоящего исполнения, которое затронет сердца наших зрителей, нужно гораздо большее – осмысление того, что ты играешь. А для этого необходим

опыт, не только актерский, но и жизненный, опыт сердца, опыт чувств. А он возникает из философского осмысления жизни, из проникновения в нее.

Мне хотелось напомнить читателям, и особенно молодым актерам, что работа артиста, художника, творца не прекращается ни на минуту, даже если он едет в трамвае или сидит в столовой. Он наблюдает: как вот этот человек садится, встает, как тот держит газету, пододвигает к столу стул, держит ложку... Он фиксирует все, что видит. И откладывает в свою «кладовую памяти».

Я не претендую на то, чтобы меня считали писателем. Просто я хочу поделиться тем, что увидел в этой жизни, заметил в той или иной ситуации, показать то, что меня «зацепило», запечатлелось в душе, в сердце, в памяти. Поэтому книга и выстроена в виде новелл. А из этих новелл выстраивается и моя судьба.

Балалайка

Эта глава о том, с чего для меня начался путь «в артисты».

Артист начал проявляться во мне, пожалуй, еще тогда, когда я и представления не имел, что существует такая профессия. Заразиться этой «болезнью» было неоткуда. Детство мое проходило в степном селе Чалбасы (ныне Виноградово) на Херсонщине. Ни радио, ни кино, ни театра... И среди детворы, и среди взрослых я слыл «чудачком»: частенько по просьбе односельчан показывал, как колхозный бугай ходит, как теленок тычется в вымя матери, как петух гоняется за курицей, как...

Чалбашан-то я потешал, а самому невыносимо хотелось петь жалобные песни. Песен я знал много, и почему-то все они были с грустинкой. Почему?

Наверное, потому, что мне не раз приходилось слышать о себе: «А цей чудачок – байстрюк»... Байстрюк – значит незаконнорожденный. Случилось так, что моя мама (она красивая была), Коваленко Надежда Федоровна, украинка, неграмотная, встретила моего будущего отца – Матвеева Семена Калиновича, русского, образованного. Гражданская война занесла его в Таврию, на юг Украины. Но вскоре после моего рождения отец бросил нас, и маме пришлось со мной вернуться в Чалбасы, в дом родителей.

Мой богомольный дедушка не простил маму за послушание: шутка ли, вышла замуж за коммуниста, без благословения, без венчания. Унижения, оскорбления – их мама испытала с избытком. И гордо, достойно сносила все это, но только на людях, а наедине со мной, где-нибудь в закутке, плакала, приговаривая: «Дитятко ты мое...»

Мне кажется, что слезы матери запечатлелись в моей детской душе навсегда. Не знаю, может, потому и сегодня в своих режиссерских работах я всеми силами отстаиваю честь и достоинство женщины. А тогда хотелось утешить маму песней, и уж, конечно, под собственный аккомпанемент.

– Дедусь, купи мени балалайку, – с опаской обратился я к дедушке.

– Заробы и грай! – так коротко и просто ответил дед.

Возможно, кто-то и не поверит, но я начал работать в свои девять мальчишеских лет. И для себя исчисляю трудовой стаж с этого момента. Это же прекрасно – приучиться к труду с малолетства.

А работы в селе всякой хватало: возил пахарям из села в поле воду в бочке, ездил с грабкой по жнивью, подбирая разбросанные валки соломы, водил лошадей по борозде, собирал колоски... Все, что было под силу и не под силу. Главное же – на балалайку я заработал сам.

И началось треньканье. Вскоре из беспорядочных «брынь-брынь-брынь» стала проявляться мелодия. Какое сладостное чувство испытывал я, когда мама или соседи, прослушав «исполнение», говорили: «Так це ж “Повий витрэ на Вкраину, дэ покынув я дивчину”!» Узнавали!..

Такое поощрение побуждало меня с еще большей силой совершенствовать «мастерство». Недолго пришлось ждать и всеуличного признания – мои «сольные концерты» стали почти нормой.

Собирались возле нашего двора женщины, усаживались на бревно у плетня и просили: «Женько, спивай!»

Как же было им не петь? Сидели они торжественно, «як у церкви», в белых платочках, с только что помытыми босыми ногами. Я пел:

Вот сейчас, друзья, расскажу я вам:
Этот случай был в прошлом году.
Как на кладбище Митрофаньевском

Отец дочку зарезал свою...

Такими вот двадцатью жалостными куплетами терзал я своих односельчанок. А они молчали, всхлипывали. Бывало, только тетка Марина (она была самая грамотная) заключит: «Жизненно!...»

Как-то мама сказала мне:

– Сынок, не печаль людей, ты их повесели.

Это был уже заказ. Как сейчас бы сказали, «социальный заказ». И кинулся я по селу собирать частушки – собралась их у меня прорва. Исполняя их, я озорничал и, кривляясь, показывал действующих лиц. Хватаясь за животы, хохоча до слез, слушатели приговаривали: «Ой, смишный... Ну, кривля-ка!» Позже я узнал, что «кривляка» – это по-городскому значит почти пародист.

Цитировать здесь частушки не буду: хоть у нас и свобода слова, но... Правда, кое-что вошло в мои фильмы «Любовь земная» и «Судьба», конечно же, в сильно отредактированном виде.

Не тут ли начинался во мне артист? Я ведь сам испытывал наслаждение оттого, что страдал, исполняя горестную песню, до одури веселился от ядреной частушки... Но главное – плакали и смеялись слушатели, зрители!

О! Это желание эмоционально владеть публикой... Это опиум, зараза, дурман! Поразительно, но она сама за этим и приходит в зрительный зал. Публика словно просит: «Всколыхни меня!», «Отвлеки от скучных буден жизни!...»

Да, давненько не брал я в руки балалайку!...

А бретл мет а лох

Чалбасы было глухим селом, находилось вдали от дорог. И школа там была только семилетка. Учителя говорили маме, что я очень способный, что семи классов образования мне будет мало, что мне надо учиться дальше. Мама и сама это понимала. Она решила уехать из родного села в районный городок Цюрупинск, где бы я мог учиться в школе-десятилетке. Мама устроилась работать в ней уборщицей, а я с головой окунулся в новую для себя жизнь.

В Цюрупинске я впервые увидел кино, узнал, что такое театр, пока, правда, любительский. Настоящий театр был в Херсоне, который находился от нас в двенадцати километрах.

Свою потребность «представлять» я утолял всеми доступными мне способами. Чем только я не увлекался! Приезжал в Цюрупинск фокусник-гастролер, и я, пораженный его искусством, начинал уже недели через две-три показывать ребятам фокусы, которые сам придумывал или вычитывал в специальных книжках, разыскивая их везде, где можно. Мои выступления перед соучениками сопровождал игрой на балалайке одноклассник Гриша Горлов, на голове которого я сооружал чалму, чтобы все у нас было по-настоящему.

Приезжал в городок с гастрольями какой-нибудь танцор, приводил меня в восторг, и я начинал самозабвенно не просто танцевать, а утанцовывался до такой степени, что и вспомнить страшно. Так меня и бросало от одного увлечения к другому. Но кончилось тем, что я все же «прибился» к драматическому театру.

Херсонский театр был музыкально-драматическим, там ставились спектакли, в которых были песни и танцы. В таких пьесах, как «Бесталанная» И. Карпенко-Карого, «Дай сердцу волю, заведет в неволю» М. Кропивницкого, «Назар Стодоля» Г. Шевченко, обязательно присутствовали на сцене колоритные персонажи – народные музыканты. Поэтому при приеме в театр учитывали способность актеров петь и танцевать.

И вот до Цюрупинска дошла весть, что Херсонский театр объявил набор в студию. Я загорелся и решил, что должен поступить туда, должен учиться там, – это было то, к чему я стремился всей душой, о чем мечтал. До областного центра пришлось добираться на барже с арбузами, потому что мы с мамой жили очень бедно, у меня не было денег даже чтобы заплатить за билет на пароход.

На просмотре в театре я так волновался, что, когда меня попросили что-нибудь спеть, затянул «Интернационал»: «Вставай, проклятьем заклейменный...» Не более не менее... Ничего другого в тот момент вспомнить не мог – ни ядреных частушек, ни жалостных песен, которые так нравились односельчанам.

Но мою судьбу решила пляска. Даже не столько она, сколько моя неказистая обувка. Она была у меня такая старенькая, что одна подошва оторвалась и я прикрепил ее провололочкой. Когда перед членами комиссии я пустился вприсядку, эта провололочка отлетела, и в такт пляске подошва стала шлепать по полу: хлоп! – хлоп! – хлоп!.. Видимо, зрелище было настолько комичным, что все, кто были тогда в зале, хохотали до слез. И комиссия решила: «Берем этого паренька! Он наш...» Так я стал учиться в студии и одновременно работать статистом, потому что театр постоянно занимал нас, студийцев, в массовых сценах во всех спектаклях.

Из тех девяноста рублей, что получал я за работу статистом, пятьдесят платил за «угол», который снимал у тети Симы Абрамович. А «угол» и вправду был в углу проходной комнаты, разгороженной огромным старинным шкафом. Там впритык к стене на деревянных «растопырках» и стояла моя раскладушка. Понятно, что в этих апартаментах комфорта, при всем желании, я испытать не мог. До сих пор помню скрип, писк, треск и скрежет створок того «буржуйского» монстра. И рассказ о нем моей хозяйки:

– Чтоб ты таки знал, что в этом гардеробе висел кустюм... – Произнося «кустюм», тетя Сима старательно вытягивала губы в трубочку. – Самого Григория Потемкина! Чтоб ты таки

знал!.. – Тетя Сима, пошаркав толстенными ногами по замызганному паркету, уходила и снова возвращалась. – Это говорила моя бабушка Ида, она врать не будет. А шо, ты сам не видишь? Это же рококо, а может, и сам ампэр...

– Амбир, – поправлял я из-под одеяла.

– Он мне будет говорить, что мне говорить! Будто я сама не знаю, что мне говорить! – беззлбно отвечала старуха, неся свое рыхлое тело на кухню. Откуда уже с укором раздавалось: – Ты бы не вылеживался, а прочел «Напрянку» (так она называла местную газету «Наддни-пряньска правда». – *Е.М.*). Что там пишут: все ли люди живы-здоровы? – Эти слова относились уже не ко мне, а к сыну Леве.

Мною давно было замечено, что тетя Сима заглядывала в «Напрянке» сразу на последнюю страницу и тут же или брезгливо отшвыривала газету к печке (это значило, что в ней не было публикации некролога), или визгливо, еле сдерживая удовольствие от прочитанного, кричала в спальню сыну:

– Левушка! Ты подумай какое горе: умер директор хлебопекарни... Ты бы, сынок, позвонил Яше, может, людям помочь надо.

Лева, сидя за столом, переносил с одного нотного листа на другой бемоли и бекары и нехотя, с долей раздражения отвечал:

– Это дело, мама, уже на крючке.

Сима понимала – халтура будет. Но ей так не терпелось узнать подробности, и она робко спрашивала:

– Не помнишь, Левочка, когда это будет?

– Лабать жмурика будем завтра, мамочка.

За полгода квартирования у Абрамовичей я научился понимать «лабухский» (музыкантский) жаргон: «жмурик» – это покойник, «лабать» – играть на похоронах.

У тети Симы было два сына: младший, Лева, играл в театральном оркестре, а Яша работал часовщиком. Но главный доход в семейный бюджет они приносили с похорон и свадеб. В духовом оркестре Яша дул в трубу-баритон, а Лева «бухал» в большой барабан и «ляпал» в медные тарелки.

На те тридцать рублей, что оставались у меня от зарплаты (после вычетов на членские взносы: комсомольские, в Красный Крест, в ОСОАВИАХИМ², в МОПР³ и прочие), я худобно питался. Думать о рационе, сочинять меню – тут у меня голова не болела: повидло и тюлька стояли в магазинах бочками. Бывало, кидался я и в разгул: покупал 100 граммов халвы, 100 граммов ливерной колбасы. Все это мигом съедал – и спать.

Правда, сразу погрузиться в сон не всегда удавалось – беспокоили сказочные запахи из кухни Абрамовичей: фаршированной рыбы, курятины с чесноком, пирогов с мясом... Эти муки я испытывал всегда, когда моим хозяевам выпадала халтура со «жмуриком».

Однажды Лева вдруг предложил мне пойти с их оркестром на еврейскую свадьбу, чем привел меня в удивление и даже растерянность.

– А что я там делать буду?

– Чудак, будешь стоять возле нас и помахивать в такт мелодии. Вроде как дирижер, понял?

– Неудобно как-то...

– А удобно тюльку глотать, как Мартын мыло? Удобно? Потом от пуза поужинаешь с нами.

«Хороший парень Лева, – подумал я. – Что ни говори, все-таки коллега, понимает страдающего». Одним словом, голод не тетка, и я согласился.

² Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству.

³ Международная организация помощи борцам революции.

Готовился к свадьбе с особым трепетом и торжественностью: отутюжил выдавшие виды штаны, а галстук и рубашку взял в костюмерной театра.

– Ну, не капельмейстер, а прямо-таки сам жених! – оглядев меня со всех сторон, сказала милая костюмерша Дуся. И добавила: – Слухай, Женю, а може, тебе фрак надеть? А то я быстренько... Не, нельзя, – спохватилась она. – Он же, чертяка, в нафталине увесь – завоняешь свадьбу. – И рассмеялась, прикрывая ладошкой беззубый рот.

Студенческая столовая мореходного техникума, которую сняли для проведения свадьбы, наполнялась гостями. Большинство мужчин было в белых расклешенных брюках и парусиновых туфлях, освеженных зубным порошком. Женщины – с короткими модными стрижками, в которых поблескивали причудливые заколки и гребешки.

Мой духовой оркестр помимо братьев Абрамовичей усилен был почему-то скрипачом. На удивление довольно стройно он наяривал марши и вальсы. «На удивление» потому, что тромбонист до этой свадьбы уже успел «полабать жмурика» и, плотно пообедав там, часто срывался на икоту. Икал он, дьявол, как раз на высоких нотах, чем или резко обрывал музыкальный звук, или издавал другие звуки – ну просто неприличные...

В паузе гости шумно рассаживались за П-образным столом, на котором плотно стояли вазы и блюда со всякой аппетитной снедью. Как сейчас помню: от нетерпения хотя бы прикоснуться к этому изобилию я остро ощущал сухость во рту и легкое головокружение. Играть, когда другие дружно принялись за еду, было невыносимо. И мои оркестранты стали откровенно выказывать недовольство. Первым взорвался Лева. Было заметно, что сегодня он явно нервничал: то зыркал глазами на невесту, то рывкал на икающего тромбониста.

– Если ты, гад, еще раз пукнешь, я по твоей башке тарелкой врежу! – пригрозил он ему.

– А ты чаще смотри в ноты, а нэ на Мурочку, – огрызнулся в ответ тромбонист и опять икнул. – Мурочка теперь чужая девочка.

Скрипач Гриша долго оценивающе смотрел на невесту и философски заключил:

– Боже ж мой, там же и подержаться не за что. А прыщики разве отсюда разглядишь? – Он имел в виду бюст невесты.

– Дэ кисточка, там и смак! – с подковыркой обратился Яша к брату. – Правда, Лева?

Лева молчал, жадно и глубоко вдыхая дым от папиросы «Сальве». Мой коллега очень уж нервничал, и причина этого была мне пока неизвестна. Музыканты принялись судачить о женихе, тоже не отличавшемся могучим телосложением.

– И чувак навроде нашего Жени: на просвет ребра виднеются... – Я действительно был тогда не в меру худой – при росте 183 см весил 56 кг. Меня за это и дразнили то тюлькой, то оглоблей. Циник тромбонист продолжал упражняться в остроумии: – Посмотреть бы на этих молодоженов в страстных объятиях на железной крыше – вот грохоту будет... – И сам пожеребачьи заржал.

За столом, как и полагалось, звучали цветистые тосты, пожелания. Порядком охмелевшие гости всю галдели, уже не слушали друг друга, вскакивали с мест и порывались танцевать.

Нам поднесли по граненой стопке водки и по куску пирога с рыбой.

– Закусите, хлопцы, это невеста позаботилась, – сказала украиночка, по всему видать, приглашенная официантка. Лева, увидев, с каким наслаждением я уплетаю пирог, шепнул:

– Представляешь, Женя, если ты провозгласишь тост, какой будет фурор. Они тебе и с собой харчей дадут...

Видно, водка уже ударила мне в голову, поэтому я с легкостью согласился.

– А что сказать? – спросил я, дожевывая пирог.

– Только и всего: «Мура, будь счастлива».

– И все?

– Только это надо сказать по-еврейски...

– Как это?

– А бретл мет а лох! Давай, повтори.

Уж очень хотелось мне произвести впечатление на публику, и я раз пять повторил на ухо Левке эту фразу. К своему удовольствию, получил его одобрение.

Началась танцевальная суета. Музыканты заиграли азартнее и громче, особенно тромбонист и скрипач – им удалось еще «подпольно» выпить по парочке стопариков. Танцующие фокстрот и фрейлехс толкались в тесноте между столов. Живописный этот танец фрейлехс я видел впервые и поражаюсь его дьявольской экспрессии. Зажигательность танца срывала с мест даже стариков...

Я же, забыв о дирижировании, все прокручивал в своей башке: «А бретл мет а лох... а бретл мет а лох...» Шутки шутками, а ведь это своего рода дебют! Первое мое публичное выступление. О! Еще и на еврейском языке!

Разгоряченные, запыхавшиеся, взмокшие от духоты и темпераментных телодвижений гости с грохотом усаживались за столом. Я почувствовал, что мой час приближается, и, наклонясь к Леве, взмолился:

– Не буду я тост...

Он не дал мне договорить и зло, сквозь стиснутые зубы, промолвил:

– Поздно!

Задрбезжала тарелка – по ней вилок колотил застольный затейник. Голоса хотя и неохотно, но постепенно затихали. Затейник, красуясь, многозначительно оглядел присутствующих и выкрикнул словно на арене цирка:

– А сейчас сюрприз! – Нахально-театральным, как мне показалось, жестом он указал на меня. – Встаньте сюда, прелестный юноша.

Левка подтолкнул меня к столу. Враз на меня уставились десятки глаз. В них я читал и любопытство, и насмешку... Левая коленка колотилась, я прижался ею к ножке стола. А затейник упивался собственным красноречием:

– Юное дарование нашего родного Херсонского театра провозглашает тост!.. – Кто-то хлопнул в ладоши, кто-то хихикнул. – Внимание! Тост произносится на еврейском языке!

Все затихли. Слышно было, как у дам трещали пластмассовые веера – тогда очень модные. В руке у меня, не помню как, очутился фужер с вином. Еле уняв в себе дрожь, я искренне, прочувствованно сказал:

– Мура! А бретл мет а лох!

Невеста, закрыв хорошенькое личико ладонями, потеряв сознание, рухнула на стол. Начались крики, визг! Грохотали стулья, падала на пол посуда...

– Вон!..

– Дрянь!..

– Шпана!

– Дерьмо!

Женщины визжали в истерике. Ко мне, ошеломленному, окаменевшему, бросились вместе с женихом разъяренные мужчины. Нет, они не били меня, а легонько приподняв, вынесли из зала и, как ненужную вещь, сбросили по лестнице вниз. Сколько кувырков сделало мое тело по железным ступенькам, не помню, только очнулся я на шершавом тротуаре.

Обида... боль... стыд... Поплелся я в театр. По моим расчетам, спектакль еще не окончился, и я успею вернуть Дусе рубашку и галстук. Под уличным фонарем я осмотрел себя: рукав оторван, пуговицы через раз, на манжете кровь... В костюмерную проник никем не замеченным, и, слава Богу, Дуся была там одна.

– Женюха, дытынка моя!.. – всплеснула она руками и в замешательстве опустила на кучу солдатских шинелей. – Шо трапелось (случилось)? – Ее сердечное материнское участие словно вытолкнуло из моей груди стон и слезы. Я плакал. Так я плакал впервые – с горечью в душе и дрожью по всему телу. В детстве плакалось легче.

– Кто бил? За шо? – Утешая, Дуся поглаживала меня по голове влажным платочком – вытирала сочившуюся кровь.

Я рассказал все, как было. Конечно, и про «а бретл мет а лох»...

– А шо це таке?

– Лева сказал, что «желаю счастья».

– Не-е! Тут шось не так, – засуетилась Дуся. – Я зараз нашего гримера позову. – Приоткрыв дверь, она крикнула: – Соломон Михайлович, зайдите, пожалуйста, сюды!

В костюмерную вошел старый мастер. Я изо всех сил старался быть перед ним максимально спокойным, но тело предательски нервно вздрагивало.

Дуся начала с места в карьер:

– Шо такое по-иностранному... – От натуги она сморщила лоб, но так и не вспомнив злополучную фразу, взглянула на меня:

– Ну, Женю, сам скажи!

– А бретл мет а лох, – с трудом выдавил я из себя.

– Ну, откровенно говоря, это доска с дырочкой. И это не повод для переживания... А что случилось, Дуся?

– Женя ж невесте такое сказав, а научив його Левка, ну той, шо у нас в оркестре в барабан бухае...

Соломон Михайлович пошатнулся и схватился рукой за шнур, протянутый через костюмерную. Шнур оборвался, на пол посыпались висевшие на нем «плечики»... Старик сдавленно ахнул...

– Вам плохо? – спросила перепуганная Дуся. После минутного молчания Соломон Михайлович тихо, с невыразимой горечью сказал:

– Какая подлость! – Покачивая головой, он сильно зажмурил глаза, словно укрощал боль. – Я все понимаю. Он, мерзавец, мстил Мурочке Гринберг. Этому чистому, невинному существу... Он мстил за то, что она не его предпочла... Женечка, вы обратили внимание, какая сегодня была на ней прическа? Так эту красоту делал я – Соломон!..

Говорить нам не хотелось. Мы долго молчали. Дуся подогрела на примусе чай. Посасывая леденцы, мы наслаждались душистым напитком... И думали. О чем? Я упрямо повторял себе мысленно слова, что когда-то были выгравированы на перстне царя Соломона: «И это пройдет!» Значит, не повторится и забудется... Как бы не так!.. Вспомнилось ведь...

Штаны и... Довженко

В спектаклях Херсонского музыкально-драматического театра у меня, статиста, появились небольшие роли без слов: режиссеры решили использовать мою невероятную худобу и высокий рост, то есть мою типажность. Я выходил на сцену тощий, длинный, в штанах, которые были мне коротки и держались на одной бретельке из веревки, и публика всегда встречала меня хохотом. Получалась роль комедийного простака. Да еще режиссер «подкидывал» мне какую-нибудь «находку» вроде почесывания головы или ковыряния в носу.

Как-то в Херсон приехал с гастролями замечательный ленинградский актер Николай Константинович Черкасов. Как обычно бывает в таких случаях, его пригласили посетить спектакли местного театра. Он пришел на один из них и, видимо, заметил меня и запомнил мое «антре». Когда после спектакля он беседовал с нашими актерами, то вдруг спросил: «А где тот мальчонка?» Я стоял сзади всех, не осмеливаясь приблизиться к приезжей знаменитости. Меня вытолкнули вперед. И вот я, взволнованный его вниманием, стою рядом и слышу: «Тебе надо учиться. Учиться серьезно. Александр Петрович Довженко открыл свою школу при Киевской киностудии и набирает туда учеников».

Николай Константинович не просто посоветовал мне поехать в Киев, но, как потом я узнал, сам позвонил Довженко, рассказал, что в Херсонском театре увидел способного паренька.

Когда я приехал в Киев, то оказалось, что занятия в школе шли уже более полугода, – я опоздал. Александр Петрович все же решил меня послушать, посмотреть, что я умею, что собой представляю. И взял. Ему надо было с самого начала принять в школу пятнадцать человек, а он набрал в два раза больше, сказав при этом: «Половину из вас в процессе учебы отсеют».

Итак, я стал студентом киевской киноактерской школы. Я сам понимал, что по сравнению с другими ребятами выгляжу отстающим, поэтому наверстывал упущенное, учился жадно. Александр Петрович появлялся в школе редко – снимал фильм «Щорс», – поэтому занятия вели у нас другие педагоги, его помощники. Но он все же смог отметить меня и относился ко мне не просто хорошо – я даже чувствовал его нежность.

Я был его любимым учеником по украинскому языку. Довженко потом обвиняли в национализме, в том числе ему ставили в вину, что он не разрешал в школе говорить по-русски, а только по-украински. Но у Довженко была задача подготовить профессиональных актеров для украинского кино, актеров, хорошо владеющих родным языком. А на Украине в городах говорили на плохом русском языке, по-украински же говорили еще хуже. Я, выросший в селе, где был настоящий, чистый, народный язык, выгодно отличался от учившихся вместе со мной киевлян, одесситов, харьковчан, выходцев из Запорожья, Днепропетровска с их ужасной городской смесью двух языков: они не знали ни настоящего русского, ни настоящего украинского. (Даже теперь, когда я приезжаю в Киев, то говорю своим знакомым: «Вы хотя бы сейчас учили свой язык, а то я приезжаю из Москвы и учу вас, как надо разговаривать на вашем же родном языке».)

Занятия шли своим чередом, но вдруг в конце 1940 года прошел слух (оказавшийся потом правдой), что учащиеся вузов должны будут платить за свое обучение: студенты-«технари» по 400 рублей в год, а «гуманитарии» по 500... Для кого как, а для тех, кто, как я, был родом из деревни, это была беда, крах...

Кто мог мне помочь? Мама? Она работала в школе уборщицей за 90 рублей в месяц. Присылала мне пятерочку, иногда десятку в конверте – моей стипендии еле-еле хватало на неделю...

Все! Конец моей учебе!

И решил я на толкучке, как называется на окраине Киева стихийный вещевой рынок, продать единственные свои штаны. Они хоть и б/у (бывшие в употреблении), зато коверкотные – это уже что-то...

Втиснулся я в толпу жаждущих выгодно продать-купить. План сочинил простой: найду штанишки попроще и подешевле, умолю продавца подождать, а сам подыщу покупателя на свой коверкот, возьму его за руку, приведу к продавцу, сниму с себя эти, надену те, расплачусь. Разница в цене пойдет на оплату за обучение.

Сделка за мусорными ящиками с горем и стыдом состоялась. Приоделся. Хоть была обновка и коротковата, зато из чертовой кожи – не износить до выпускного вечера. Выгадал на этом 20 рублей... Осталась ерунда – всего 480. Ну, пару раз успею сдать донорскую кровь...

Нет, все равно полный крах! Шел уже декабрь, до 1 января, последнего срока, когда надо было вносить деньги, рукой подать. Потом – ничего. Ничего не будет из того, о чем мечталось. Не стать мне актером, как Николай Черкасов, Борис Бабочкин, Николай Симонов... Не сыграть мне Жака Паганеля, Чапаева, Петра Первого... Не быть мне как утесовский музыкант Костя из «Веселых ребят»...

Какой смысл жить, если меня отчислят? Все село будет знать об этом, все школьные друзья. Я не мог разочаровать их, так веривших в меня, говоривших, что я «циркист», «клоун», «ой, из него артист выйдет». Нельзя мне теперь вернуться домой. Обидеть этим маму, так надеявшуюся на меня?... Эти мысли не давали мне покоя.

Все! Конец! Зачем мне жить? Лучшее, что я мог тогда придумать – броситься в Днепр с моста...

Пришел на Владимирскую горку. Днепр, хоть и не рядом, но было видно, что он покрылся уже тонкой ледяной коркой. Силой падения и весом своего тощего тела пробить ее ничего не стоит. Главное, думал я, только бы от страха не вынырнуть обратно... Значит, погружаясь, надо чуть-чуть уклониться от места проруби... Вот у памятника Владимиру Мономаху выкурю последнюю беломорину и...

Только успел сделать две-три глубоких затяжки, как передо мной появилась девочка лет 11–12. Нищенка...

– Ты чего так поздно шляешься здесь? – спросил я девчушку.

– Мне спать негде...

Пошел мягкий пушистый снег. Он падал на нас обоих.

И показалась мне эта девчушка моей сестренкой, такой же, как и я, неприкаянной, несчастной и никому не нужной на этой земле.

– Чаю хочешь? – спросил я.

– Согреться бы, – робко сказала она.

Не знаю, до сих пор не знаю, что толкнуло меня предложить девчущечке пойти за мной в тепло... Последним трамваем тряслись мы по Брест-Литовскому шоссе до остановки «Лазня» (баня). Пришли в комнатку, где я жил, в углу за ширмочкой, с Петром Лисицей... Петра не было: он поехал на родину добывать деньги...

Фрося (так звали нищенку) или не знала, или еще не понимала, что могло бы произойти с ней и юношей в таком случае – вела себя легко и просто. Полудитем она была...

– Ты почему ночью шляешься по городу?

– Маму ищу...

– А где она?

– Папа погиб на озере Хасан, а мама все ищет его... Мы с ней потерялись... на вокзале...

Она хотя и стеснялась, но ела жадно засохшую от времени халву, прихлебывала из стакана ничем не заваренный кипяток. Уснула она на моей раскладушке. Я улегся на Петькиной и все думал: что мне с ней делать? куда ее пристроить? как разыскать ее мать?... А как с собой-то быть?! И до того жалко себя стало, так жалко, что даже всплакнул... Потом решил: до весны

как-нибудь продержусь, а там поступлю в военное училище. Курсантов кормят и обмундирование дают... А уж потом приеду домой не жуком на палочке, а красным командиром с кубарями в петлицах.

Так в мечтах и грезах оказавшись не на дне Днепра, а на вершине полководческой славы, я уснул... Растормошил меня Петро. Изумленный увиденным, тем, что я расположился на его кровати, а на моем ложе нежилась девчушка (я только сейчас разглядел, что она была хороша), он торопливо и взволнованно зашептал:

– В школу!... В школу пойдем!

– Нас уже исключили...

– Ну и хрен с ним, сегодня не выгонят. Будет Александр Петрович!..

Довженко для всех нас был понятием не земным – святым. К сожалению, видели мы его в школе нечасто, поэтому так радовались каждой встрече с ним. А уроки по мастерству актера вел у нас интеллигентнейший его помощник Игнат Игнатович Игнатovich, человек высокой культуры, у которого мы многому научились. Игнатович был известен и как режиссер-постановщик очень популярного фильма «Истребители» с Марком Бернесом в главной роли...

Какие чувства испытывали мы, ожидая встречи с Довженко, мудрым человеком, гениальным художником... Ситуация почти как у А. Иванова в его «Явлении Христа народу»...

Фросеньку по пути мы привели в милицию, умолили разыскать ее маму. Милиционеры, спасибо им, пообещали заняться ее судьбой. А мы с Петром что было мочи бежали по студии, забыв, что, если горит табло «Тихо, идет съемка», надо остановиться и тихо ждать отбоя. Но мы бежали! Вдогонку слышался крик режиссера Леонида Лукова (он снимал в павильоне сцену фильма «Александр Пархоменко»):

– Убью поганцев! Шпана!

И вслед нам полетела его толстая трость...

Вбежали мы в класс – все студенты уже сидели в трепетном ожидании Учителя... Покоился я на сокурсников – те, кто заплатил 500 рублей, смотрели на нас, четверых безденежных, с сочувствием и страхом...

Вошел Он! Мы встали...

– Сидайте, будь ласка! – сказал торопливо Александр Петрович. И так же торопливо уселся в кресло. По всему было видно: «Не будем на церемонии тратить время».

Лида Рудик (впоследствии она станет заслуженной артисткой УССР), как староста курса, должна была кратко сообщить, кто есть в классе, кого нет. И почему. Но Лида, нервно теребя в ладонях носовой платочек, молчала. Это ее молчание тянулось томительно, неестественно долго. Александр Петрович, почувствовав напряжение в классе, взглянул на старосту.

– Що трапелось? – спросил он, и, как мне показалось, на лице его появился испуг.

Лида, закрыв рот платочком, выскочила за дверь. Оттуда донеслось ее сдвоенное рыдание.

Александр Петрович склонил голову на палку, с которой почти не расставался, задумался, а может, вслушивался, как мы шмыгали носами, робко вздыхали... Вдруг грохнул палкой об пол и закричал:

– Що трапелось?!

Вскочил наш «старик» Павел Индыкул – ему в то время было лет 27–28 – и, набравшись смелости, доложил:

– Горе, Александр Петрович... Четверых из нашего курса исключили... За неуплату...

– Кого? – спросил он так, как будто спрашивал, кого убили.

– Лиду Рудик... Петю Лисицу... Женю Матвеева... Гришу Полищука...

Гриша был одним из самых талантливых среди нас. К несчастью, погиб на войне этот самородок.

В зловещей тишине посидели мы еще немного, потом Учитель встал и почти шепотом сказал:

– Пробачте (извините), діти!.. – И покинул класс.

Мы ждали его возвращения до самого звонка. Он не вернулся. Никто из нас не вышел на перерыв: всё надеялись, что вот-вот он войдет...

Вместо него появился директор школы Гришин. Лицо его было красным, дышал он тяжело. С укором произнес:

– Урока не буде!..

Девушки заплакали навзрыд. Гриша Полищук выдавил из себя «ой!» и тоже прослезился... Директор, явно не ожидая такой реакции учеников, смягчился: назвав фамилии четверых отчисленных, велел зайти к нему. В кабинете Гришин пригласил нас сесть, чего студентам никогда не предлагали. Потом сказал:

– Ну, хлопчики и дівчатка, забудьте про цей сумный день... Гроші за навчання вам вносити не треба...

– ???

– Олександр Петрович цю справку вирішив.

Позже мы узнали, что А. П. Довженко внес за нас свои деньги. И еще чуть позже нам стало известно, что в этот день у любимого Учителя был сердечный приступ...

Суслик

Еще когда был жив Влад Листьев, меня пригласили на его передачу «Час пик». Это было 9 мая, в День Победы, и потому Влад решил поговорить со мной о начале Великой Отечественной войны: «Евгений Семенович, что наиболее ярко запомнилось вам из тех дней?» Мой ответ для него был неожиданным: «Я помню, как кричал горящий суслик».

Я видел, что Влад был явно озадачен, поначалу он даже не понял, о чем это я: мы в прямом эфире, в День Победы, затронули святую для нашего народа тему, и вдруг... какой-то суслик. Почему суслик?..

И я стал рассказывать...

Конец июня 1941 года. Немецкие войска вторглись на нашу землю. В стране объявлена всеобщая мобилизация. В Киеве тоже уже действовал приказ: всем мужчинам призывного возраста срочно, в течение нескольких часов, покинуть город, к которому приближались гитлеровцы, и направляться в сторону Харькова. Там, в районе знаменитых военных Чугуевских лагерей, известных еще со времен Петра Великого, был сборный пункт.

В это время вовсю шла спешная эвакуация заводов, учреждений. Эшелоны, колонны машин непрерывным потоком двигались на восток. Уходила из города и часть населения. Все шли пешком. Вместе со всеми шел и я. Нещадно палило солнце. Над дорогой, ведущей из Киева на Полтаву и далее на Харьков, пыль стояла столбом. Длинная, бесконечно длинная колонна людей. В ней и мы, мужчины, которым надо было добраться до этих ближайших городов, явиться там в военкоматы. Кто с чемоданчиком, кто с «сидором» (так на Украине назывались сумки в виде вещмешка), кто без ничего, вроде меня, в угрюмом молчании топали по дороге, по обеим сторонам которой расстилались поля пшеницы, ржи, ячменя... Кому достанется этот созревающий, обещавший быть богатым урожай? Неужто врагу?..

Мы едва успели дойти до местечка Борисполь, где тогда находился небольшой грунтовой аэродром, как на него налетели немецкие самолеты. (Теперь в Борисполе огромный, международного класса аэропорт.) Помню свое юношеское восприятие тогдашней ситуации: взглянув на небо, я поначалу решил, что его заполнили многочисленные рои пчел. Но это были не пчелы – это были сотни самолетов, из которых сыпались тысячи бомб. И падали они на нас.

Рев моторов, свист летящих бомб, грохот взрывов. Люди в панике кинулись прочь от дороги – в поля, в хлеба...

Бросился на землю и я, прижавшись к ней всем телом. Взрывы, взрывы... Казалось, земля раскалывается, ходит ходуном под моими руками, моим животом. Потом к грохоту, гулу добавился треск – это стал гореть на корню хлеб. Удушающий дым мешал дышать...

И вдруг в этом аду, в этом грохоте и треске я услышал странный, непонятный звук – чей-то жалобный писк, писк живого существа. Я открыл глаза и увидел, как мимо меня катится маленький комочек огня. Суслик! Объятый пламенем суслик!.. Инстинктивно, на четвереньках бросился ему помочь. Поздно!.. Он уже не пищал...

И мне вспомнилось детство, наша сельская школа, наша пионерская «борьба» за сохранение урожая...

Суслики пожирали урожай. Их была тьма-тьмушая... Как всегда в те времена, когда только зарождались колхозы, – в деревнях и селах многое делалось по лозунгам и призывам, подобным такому: «Советские пионеры и школьники! Все как один на борьбу с нашими злейшими врагами – сусликами!» Сколько неподдельного энтузиазма было в нас, мальчиках и девочках, выходивших в степь с ведрами, наполненными водой. Увидев шумную ораву охотников-истребителей, напуганные зверьки ныряли в свои глубокие норы. Это-то нам и надо было...

Мы присаживались у черной дыры: один из нас колечком складывал пальцы руки у кромки норы, другой лил туда воду. Вскоре мокрый, жалкий грызун вылезал на поверхность. Цап его за горлышко – и душить! Суслик, подпрыгав ножонками, затихал. Один готов! Мы ликовали.

Учительница или пионервожатый, подводя итоги борьбы за урожай, с пафосом объявляли:

– Третье звено уничтожило шестнадцать грызунов и заносится на Доску почета! Дружно, ребята, крикнем победителям: «Ура!...»

– Ура-а! – нестройно тянули те, кому не повезло попасть в передовики...

Это было в тридцатых годах. И вот это – в 1941-м...

Самолеты улетели за новым запасом бомб... Шедший с нами представитель военкомата хрипло прокричал: «На Полтаву – марш!» Мы, отряхиваясь, выбрались на дорогу и вместе с другими молча побрели трактом. Небо было затянуто дымом от горевших хлебов – пропал урожай... А мне было до боли сердечной жалко суслика... Я плакал. Потом мне многое пришлось увидеть за годы войны, но то мое первое военное потрясение я не забуду никогда.

Много позже, во время съемок фильма «Особо важное задание», я решил вставить в него этот эпизод. Но, как мне кажется, горящий суслик не вызвал у зрителя таких чувств, как у меня тогда. Почему?..

Может, потому, что сидящим в зале сейчас не так страшно, как было мне тогда на шляху? А может, не так и не там был показан мною в фильме суслик?

Думать всегда есть над чем...

Трибунал

Вместе с тысячами других мужчин призывного возраста добрался я до Чугуевских лагерей, пройдя от Киева через Полтаву и Харьков более пятисот километров. На сборном пункте стали нас как бы рассортировывать: «Кто с высшим образованием – направо, кто со средним – налево, кто с семилетним...» Проверять, есть ли у всех дипломы или аттестаты, времени не было, разбираться с нашими специальностями тоже было некогда. Так я, студент второго курса трехгодичной актерской киношколы, считавшейся вузом, попал в группу, где были «технари» – инженеры, физики, математики... И все они уже были дипломированными специалистами, а у меня – незаконченное высшее, да и то какое-то странное для военного времени.

Нас быстро распределили, сразу же погрузили в вагоны-теплушки и отправили на восток. Куда, зачем мы ехали, никто не знал, да мы и не спрашивали. Полмесяца тащился наш эшелон в глубокий тыл. Прибыли в Тюмень, выгрузились. Поселили нас в каких-то бараках, где мы недели две провели в жутких условиях: питались кое-как, спали вповалку на соломе, кормили вшей...

Наконец пришел и наш черед – отправились мы в баню мыться, бриться, облачились в выдавшее виды обмундирование (хоть и старье, но чистое), построились. Наше будущее определилось – мы стали курсантами Первого тюменского пехотного училища. Обстановка на фронтах тогда была тяжелейшая, поэтому нам сказали: «Поскольку все вы с высшим образованием, то обучение будет не шесть месяцев, а четыре». Ускоренный выпуск пехотных командиров – и на передовую...

Я понимал, что нет у меня тех знаний, что были у моих теперешних сокурсников, выпускников технических вузов. Как я буду учиться, имея за плечами незаконченное актерское?

Ведь офицер, командир – это человек, знающий не только военную технику, пулеметы, минометы, но и баллистику, механику, топографию, фортификацию... А я не имел об этом никакого представления. Ну, получу я после окончания училища звание лейтенанта, но может оказаться, что я и половины не успею узнать из того, что положено командиру, который поведет с собой в бой десятки людей, доверивших ему свои жизни... Значит, мне необходимо учиться в десять раз больше и лучше, чем другим.

И я начал учиться с таким остервенением (я все делаю с остервенением – такой у меня характер), что вскоре стал отличником. Начальство, видимо, взяло на заметку мои успехи, потому что, когда пришел день выпуска и нас стали распределять – того в ту воинскую часть, другого в эту, – обо мне в приказе было сказано: «Матвеев направляется в Первое тюменское пехотное училище». То есть меня оставили там же, где я учился. Преподавателем, курсовым офицером. Как я ни рвался вместе с другими ребятами на фронт, но был вынужден подчиниться. Приказ есть приказ – служи там, где тебе положено.

Нельзя сказать, что преподаватель училища – это было «теплое местечко». Нет. Жилось нам тяжело, мы голодали в прямом смысле слова. А вот курсантов кормили сытно, хорошо. Более того, они старались еще и нас подкормить. Принесут им бачок с кашей – они первым делом наполняют тарелку для командира своего взвода, а уж потом подставляют свои... Такие это были люди... Сейчас нечто похожее и представить невозможно. Сейчас поделиться с кем-нибудь? Какое там! Последнее отнимут – у стариков, детей, слабых, немощных...

Сделал я один свой выпуск, второй, третий... Шесть месяцев, лейтенантские погоны – и на фронт. Иногда бывало, когда положение становилось уж очень тяжелым, будущих офицеров обучали месяца три и, не успев присвоить звания лейтенантов, отправляли на передовую сержантами. Я тоже рвался туда, подавал рапорта начальнику училища – безрезультатно. Меня охватило отчаяние. Особенно невыносимо стало после одного случая.

Я был дежурным по училищу. И вот ночью ко мне подходит один курсант, из фронтовиков, уже побывавший в боях, и протягивает на ладони... орден Красной Звезды: «Старшой (я был старшим лейтенантом. – *Е.М.*)! Война-то скоро кончится, а у тебя грудь голая. Куда потом от стыда денешься? Возьми!» Как ударил меня! А в чем была моя вина? Я ведь неоднократно рапорта подавал...

Этот ночной разговор прямо-таки сбил меня с ног. Я и без этого мучился вопросами, отправив на фронт очередной выпуск: вот они, прекрасные ребята, – теперь фронтовики, а кто ты? За какие красивые глазки тебя держат здесь, превращают в тыловую крысу? Не выдержал – пошел опять к начальнику училища гвардии полковнику Акимову, уже израненному в этой войне, интеллигентному, умному человеку. Протянул ему свой рапорт. Он, не читая, отложил его в сторону.

– Еще можешь потерпеть. Тут, – он кивнул на пухлую папку, – по четвертому, по пятому разу просят. Будет приказ Верховного, разрешающий курсовых офицеров отправлять на фронт, – отпустим.

Приказ Сталина об отправке курсовых офицеров на передовую, для стажировки в течение месяца, пришел. Но из той «стажировки» никто из наших командированных офицеров в училище потом не вернулся – они или погибли, или были ранены, искалечены... Ни в первый, ни во второй заход я не попал, ждал третьего...

Теперь-то я понимаю, почему начальник училища тянул с моей «стажировкой»: он берег меня, понимал, что я по природе своей никакой не военный, я артист. Более того, в училище я руководил тогда всей художественной самодеятельностью. В те трудные времена она была особенно необходима – поднимала настроение, дух у людей. И участвовало в ней немало курсантов: ведь среди них были очень талантливые ребята. Война сделала солдатами, офицерами и артистов, и музыкантов. Например, был у нас курсант Фима Гранат, виолончелист, лауреат конкурса. Или Саша Зацепин, ставший впоследствии знаменитым композитором. Я тоже, как и полковник Акимов, в свою очередь всячески старался, чтобы его не отправили на передовую: ходил к начальству, говорил, что без курсанта Зацепина нам ну никак нельзя, у нас скоро концерт... С помощью таких нехитрых приемов нам удалось спасти для народа его талант. И какой! (Однажды, выступая по телевидению, Александр Зацепин рассказал об этом, и я, слушая его, буквально разревелся, вспомнив нашу военную молодость.)

...Шел февраль 1944 года. Очередной мой выпуск – недоучившихся, сержантов – по тревоге подняли ночью и отправили на фронт. Я на время остался без дела. Ожидая курсантского пополнения, не находил себе места. Опять пошел к начальнику училища:

– Нового курса у меня сейчас нет. Прошу отправить на фронт...

– Сынок, будет приказ – отправлю. А пока помоги училищу...

И полковник Акимов рассказал, что отчисляет из курсантов как профнепригодных человек сорок: больных, неграмотных, умственно отсталых, да и просто нерадивых... Из них не то что офицеров нельзя сделать, но и солдаты из них не получатся. И таких, присланных в училище на учебу, оказалось немало. Сидели эти горе-курсанты на занятиях, ничего не усваивали и тянули свое подразделение по успеваемости вниз. Вот начальник и решил собрать их в один взвод:

– Займись пока ими...

Что ж, просьба начальника – это приказ в вежливой форме. Надо – значит надо.

– Слушаюсь, – без особого энтузиазма ответил я.

– И не кукись. А на фронт успеешь – придет и твой черед. – Полковник встал и, потечески улыбнувшись, пожал мне руку.

Собрал я этих «чудиков» вместе. Стоят в каком-то корявом строю мои «гренадеры», смотрят на меня исподлбья: кто с мольбой о сочувствии, кто с откровенной неприязнью. Вышагивал я вдоль них по снегу на плацу и думал: «Зачем мучить этих убогих? Этот не выго-

варивает половину букв алфавита, этот вообще заика, у того недержание мочи, а этот по-русски знает только два слова: “каша” и “отбой”...»

– Я ваш командир, старший лейтенант Матвеев. Есть ли вопросы ко мне?.. – Молчали «богатыри». Шмыгали покрасневшими на морозе носами, терли уши, постукивали от холода выдавшими виды ботинками... – Завтра после подъема – занятия по расписанию!

Мне было и невдомек, что это «завтра» наступит намного раньше подъема.

Тревога!.. Внезапно, как это часто бывало, нагрянула инспекция из Москвы. А когда приезжали такие комиссии, то начинали с проверки уровня подготовки курсантов: первый взвод – занятия по тактике, второй – по топографии, третий – еще по какой-нибудь дисциплине...

Мой взвод, с которым я не успел провести ни одного занятия, именовался «Первый четвертой роты первого батальона». И проверяли его по тактике боя. Было приказано: к девяти часам утра расположиться за деревней на опушке леса. Еле-еле, подталкивая своих «орлов», дотасил я их до места нашей дислокации.

Ждем час... Ждем два... Тридцатиградусный мороз, ветер с обжигающей лицо крупой... Окаменели мои молчаливые бойцы...

Прежних своих курсантов я знал по имени и отчеству, кто женат, чьи родители или невеста на территории, оккупированной немцами, кто получает письма, кто ждет, чьи родители живы, чьи погибли... А этих и по фамилии не знаю...

С высоты, утопая в глубоком снегу, на рысях показалась группа всадников. Они, подумав я и скомандовал: «Построиться!» Курсанты лениво, без признаков малейшего волнения становились в строй, словно в очередь за махоркой. А меня колотило: что будет?!..

Первым спешился розовощекий, гладковыбритый, в новеньком полушубке и смушковой папахе генерал. За ним с трудом сполз с коня начальник училища – старые раны давали себя знать. Спешилась и свита – глазами ели высокое начальство.

Я, как положено, представился. Генерал зычно скомандовал:

– У обгорелой сосны – пулемет противника. Короткими перебежками вперед! – И перчаткой ткнул в курсанта: – Ты!

Белобровенский паренек вырвался из строя. Упал. Стал подниматься, запнулся о винтовочный ремень и снова носом клюнул в снег...

– Ты! – начал уже заводиться генерал, указывая на очередного бойца.

Этот, болтая руками длинной не по росту шинели, неторопливо передвигая ноги, двинулся на «пулемет»...

После четырех-пяти таких «Ты!» генерал, не скрывая нрава, свирепо прокричал:

– Командир взвода – вперед!

«Ну уж, дудки, – подумал я. – Это же мой конек, чудак!» И рванул, где броском, где ползком...

– Плохо! – неистово орало столичное начальство.

Такую издевательскую процедуру генерал проделал и с командиром роты, и с комбатом. Полковник Акимов, чуть шевеля побелевшими губами, проговорил:

– Товарищ генерал, вы унижаете офицеров перед лицом их подчиненных. Это недостойно...

Генерал резко взглянул на свою свиту, словно спрашивая: «Вы слышали, как мне дерзили?» Свита угодливо смотрела в глаза шефу. А главный инспектор, пытаясь сдерживать себя, уже не повышая голоса, но с нескрываемой угрозой сказал:

– С вами, полковник, разговор особый. А сейчас приказываю: командира взвода за брак фронту – под трибунал! Остальных офицеров понизить в звании на одну ступень!

Генерал со всей своей «инспекцией» на заиндеветших лошадях удалился в сторону Тюмени.

Угрюмо, печально возвращался я со взводом в казарму. Эти совершенно не знакомые мне парни, чувствуя себя виноватыми, топали, опустив головы, как на похоронах... Вдруг, ни с того ни с сего, в строю зазвучал дребезжащий тенорок:

Кони сытые бьют копытами,
Боевая честь нам дорога!..

Что-то кольнуло в сердце: подбодрить меня хотят. Но песню никто не поддержал. Еще отчетливее слышалось побрякивание оружия, лопаток, котелков...

Училище гудело: в моем положении мог оказаться любой. Поэтому говорили между собой, горячася и откровенно возмущаясь самодурством заезжего генерала. Едва я вошел в офицерскую столовую, как мои товарищи дружно вскочили с мест и, окружив меня, загалдели:

- Почему промолчал, что людей этих не учил и не знаешь?
- Пиши рапорт командующему округом!..
- А что, если Сталину дать знать?
- Все образуется, браток...

И каждый приглашал к своему столу, готов был поделиться последним... Вспоминаю сейчас – и сердце благодарно щемит: такое было военное товарищество. Почему же так растеряли мы это чувство теперь? Неужто черствеет душа?

В углу одиноко сидел Валентин Андреевский – мой друг. Человек необыкновенной красоты, благородства и порядочности. (После войны за свой труд рабочим на Харьковском тракторном заводе он был удостоен звания Героя Социалистического Труда и избран депутатом Верховного Совета УССР... Увы, сейчас Валентина уже нет...)

– Пока суд да дело, Жек... – говорил врасстяжку Валентин, наливая в граненый стакан водки. Выпили. Без аппетита поковырялись в соленых военоторговских грибах. Выпили еще. Потом еще... Такого со мной, да и с ним, хоть он и был старше меня на десяток лет, не было... Но и хмеля не было «ни в одном глазу»...

Молча дошли мы до калитки дома, где я снимал угол...

– А теперь, Жек, выпипись. Утро вечера мудренее, – сказал друг, и мы расстались.

Расстегнув воротник гимнастерки, расслабив ремень, прилег я не раздеваясь на топчан. Мысли бешено носились в голове: «В войну трибунал – это штрафная рота. Значит, смерть... Но смерть-то собачья!.. Как мама переживет такую смерть? Как дать маме знать, что я не виноват?.. А как же мечты актерской юности: Макар Нагульников, Сирано де Бержерак?..»

В замерзшее окно кто-то постучал.

– Кто?

– Товарищ старший лейтенант, срочно к начальнику училища! – послышался голос запыхавшегося от бега курсанта.

Я бежал, спотыкаясь и скользя по деревянным тротуарам. В кабинете за столом в шинели внакидку сидел полковник Акимов. Рядом – майор Вовченко Иван Никитич, начальник политотдела. Душевный человек.

Я доложил о своем прибытии. Полковник вышел из-за стола, подошел ко мне, обнял.

– Спасибо, сынок... Никакого трибунала не будет... Я все объяснил инспекции... – И ласково хлопнул меня по плечу.

– Скоро День Красной Армии, – напомнил Иван Никитич и улыбнулся. – Чем-нибудь порадуете?

Помню, вышел из штаба, взглянул на тускло освещенную улицу Республики... И... Все... Что было дальше – не помню.

Очнулся утром в постели. Мне потом сказали – я упал со ступенек в кучу снега... Пьяный...

Яблоки

Осенью 1944 года «пятьсот-веселый» забросил меня в Киев. 501, 505, 525 – это были номера дополнительных поездов, идущих (вернее, ползущих) по всей стране с набитыми в товарные вагоны людьми. «Веселая» это была езда. Куда точно идет поезд – было неизвестно; обычно объявляли: «На Урал», «Крымское направление», «В сторону Киева». Где остановится, сколько будет стоять – никогда никто не знал. Бывало, замешкается эшелон на перегоне между станциями, и тысячи людей высыпают в поисках... кустика. Паровозный свисток, лязг буферов – и с гиком, воплями, хохотом кидаются, словно мыши по норам, пассажиры в свои «телячьи» вагоны. Да, забавная была езда. Поэтому «экспресс» и прозвали «веселым»...

В полуразбитом здании киевского вокзала, прямо на куче камней лежал репродуктор, четырехугольным своим раструбом направленный на площадь. Из него несло:

И камень родной омоем слезой,
Когда мы вернемся домой...

Никогда хрипловатый голос Леонида Утесова не волновал меня так сильно и глубоко, как тогда.

Мне бы поискать «пятьсот-веселый», который шел в сторону Херсонщины, туда, где мама оставалась в оккупации, – за тем, собственно говоря, и приехал я на Украину, – но ноги сами понесли меня на Брест-Литовское шоссе... Здесь была наша актерская школа при киностудии. Что с ней теперь? Есть ли она? Будет ли? И что с ребятами?

Переступив проходную студии, я замер: диво дивное раскинулось передо мной – яблоневый сад. Не удержался – сорвал плод, наспех потер им по гимнастерке, откусил...

– Ты шо робыш?!.. Тэбэ ж пустылы як людыну, а ты!.. – без злобы, а так, для порядка, покричал на меня вахтер.

– Не сердись, дядя. Имею право. – И демонстративно хрумкнув сочным яблоком, я подошел к нему, спросил:

– Про Александра Петровича Довженко слышал?

– Слыхав! – Вахтер переступил с деревянной ноги на здоровую, добавил – Цэ ж його рукамы посажено... – Он тяжело вздохнул и замолчал.

Я рассказал ему, как наш первый урок по мастерству актера Довженко начал со слов: «Будут из вас актеры или не будут, а дерево посадить извольте». И вот вместе с ним, почти со всеми студийцами, мы сажали этот сад.

– Ну, ты кушай, кушай, чого ты... Давай рюкзачок. – Вахтер проворно снял с моего плеча вещмешок и торопливо заковылял к деревьям...

Когда мы прощались, я напрасно пытался оставить ему банку тушенки. Он – ни в какую:

– Шо ты, шо ты, сынок, може, маты твоя голодна...

Нагруженный яблоками от щедрот сторожа, побрел я к вокзалу. Почему-то вспомнилось: на тюменском фанерном комбинате работали пленные немцы, а наши вдовушки, матери и сестры кидали им через забор кто хлеб, кто морковь, кто... И оттуда доносилось: «Данке шон... данке шон...»

А в голове назойливо звучали слова из песни:

И камень родной омоем слезой,
Когда мы вернемся домой...

Возле парка имени Пушкина меня окликнули. Я очнулся от своих мыслей, оглянулся. Ко мне подходил, по-стариковски шаркая, седой и очень худой мужчина. Сердце екнуло: да ведь это... (Имени и фамилии этого замечательного деятеля культуры, скульптора, режиссера, не назову. Пусть он будет просто Режиссер. Умер этот талантливый красивый человек, и уточнить детали его рассказа не смогу, если вдруг память в чем-то изменила мне.)

Это... Режиссер! Я узнал его сразу. Как же?! Ведь он меня, студентика, утвердил на эпизодическую роль в своем новом фильме, который начал снимать перед самой войной.

Я молчал, вглядывался.

– Простите, вас Женей зовут?

– Так точно! – отвечал я по-военному и почувствовал, что тушуюсь, робею. Тут все смешалось: и разница в возрасте, и дистанция «студент – режиссер», и вид его, человека, измученного войной, и слухи...

Медленно, обмениваясь незначущими словами, подходили мы к зоопарку.

– Вы, наверное, слышали, что я предатель? – вызывая меня на откровенность, спросил Режиссер.

– Слышал, – так же прямо ответил я.

Режиссер остановился, глубоко вздохнул, выдохнул. Так он проделал раза три или четыре, словно продувал легкие. Было ясно – он успокаивал себя.

– Жена моя была очень больна, неизлечимо больна, – начал рассказ мой собеседник. – Не мог я видеть ее страданий... Продав все, что покупалось, что менялось. А тут, как на грех, немцы объявили конкурс на лучшее произведение искусства: живописи, графики и скульптуры. Я вылепил всадника на коне, ну, знаете, типа клодтовских на Аничковом мосту в Ленинграде... Скульптура, так сказать, без политической окраски.

Получил я приз. Взял мукой, крупой, дюжиной банок с консервами. Я не предполагал тогда, что поступок мой всеми, кто окружал меня, будет расценен как... – Он вынул из кармана аккуратный, отглаженный платок, высморкался. – Как предательство... Я знал, что в городе действует подполье, искал возможности связаться с партизанами. Но куда там! Предатель! – Режиссер снова раза два глубоко вздохнул, выдохнул. Успокаивался. – Но вскоре произошла невероятная история. Как-то в нашу квартиру вошли, да нет, ворвались двое: первый был немецкий офицер, а второй... – Режиссер на какое-то время замолчал, произносил только «гм-гм», будто проверял голос, как это делают певцы. Повторил: – Второй был... Бывший ответственный работник одного из киевских райкомов ВКП(б)!

Я невольно вскинул голову, уставившись на рассказчика. Он жестом попросил не перебивать его.

– Да, представьте себе: усы «а-ля Тарас Бульба» и повязка на рукаве «Полиция»... До войны он учил нас создавать высокоидейные произведения! И вот теперь... Какая мерзость... Я онемел...

Господа сели на оставшиеся – не сожженные, не проданные – стулья. Я стоял, прислонившись к стене, боялся, что могу лишиться чувств.

– Значит, так. Режиссер. Дорогие наши освободители и лично герр майор предлагают тебе редактировать свободную украинскую газету.

Полицай смотрел на меня – ждал моего согласия.

Я молчал.

– Сталинград капют! – промолвил офицер.

– Он грамотный, герр майор. Вдоволь нагорбатился на Советы... – Потом обратился ко мне. – Подумай. Такого шанса стать уважаемым человеком может и не повториться. С ответом не тяни. – «Гости» встали, оценивающе посмотрели на меня и ушли. Не знаю, сколько времени подпирал я стену... Очнулся от стога жены... Зашел к ней в комнату, опустил на краешек кровати...

– Не смей!.. Не смей! Я все слышала!.. – еле двигая синими губами, сказала жена.

Поверьте, Женечка, никуда я не ходил и, конечно, положительного ответа не давал. Я только думал, как избавиться от предложения врагов. Смерть меня не страшила, но мне надо было жить, пока жива моя жена.

В надежде раздобыть для нее барсучьего жира пошел я как-то на Евбаз. (Так в Киеве называли знаменитый Еврейский базар, лучший в городе. Евбаз – это то же, что Привоз для Одессы. Сейчас на этом месте находится площадь Победы. – Е.М.) Вдруг у тротуара, прямо около меня, останавливается «опель». Из него выскакивает тот самый полицаи...

Помню, я успел подумать: «Вот и конец...» Полицай торопливо вытащил из кармана блокнот и карандаш, спросил: «Ну как, надумал?» Я, пусть простит меня Бог, унился: попросил не губить меня, мол, не знаю я редакторской работы... Он что-то размашисто писал в блокноте и, не слушая меня, бросил: «С тобой ясно – виселица. А жену твою жалко. Это для нее». И, сунув мне в руку бумажку, сел в «опель» и скрылся... Боже, подумал я, как изощренно покупают меня: бумажка-то оказалась разрешением купить в немецком магазине продукты...

Записка жгла мне не только руку, она обжигала мою душу... Меня и так наши незаслуженно считали предателем, а кто же сует мне подачку?.. Истинный предатель. Отвратительное, мерзкое чувство охватило меня: кто же я в конце концов?.. Тля? червяк?.. Не дай вам Бог испытать что-либо подобное... – Лоб Режиссера от волнения покрылся мелкими росинками. Он вытер его платком и спросил: – Я не шокирую вас своей болтовней?

– Что вы, что вы!.. – проглотив комок, искренне сказал я.

Режиссер продолжал:

– Жена, как и в прошлый раз, просила: «Не смей, не ходи!»

Собственно, я и так не пошел бы к немцам – отоваривать свою совесть. Так низко пасть, поверьте, я не смог бы!..

Однажды рано утром все, что могло – гудок завода, удары по рельсу, крик домоуправа, – извещало, что немецкая комендатура требует, чтобы окрестное население вышло на площадь. Не пойти, подумал я, – значит навлечь на себя еще и вину неповиновения. Пошел... Моим глазам открылась зловещая картина: стояла добротнo построенная виселица, а вокруг нее толпились сотни две стариков и старух... Присоединился и я, прислушиваясь к говору в толпе... Вполголоса кто-то сказал, что партизана казнить будут. Вскоре раздались немецкие команды, народ расступился, образовав широкий просвет.

И здесь, знаете ли, произошло странное – как бывает в театре, когда на сцену направляют свет софита: солнце на миг вышло из-за туч и его луч попал... на того самого «полицая», что из райкома ВКП(б)!.. На груди его была прикреплена дощечка с надписью «Смерть коммунисту!». Поднимаясь на ящики, под петлю, он успел выкрикнуть несколько слов о Родине, о Сталине и...

Режиссер замолчал, остановился у дерева и ногой стал шевелить пожелтевшие листья... Он отворачивал от меня лицо...

Я топтался на месте, перекладывая мешок с яблоками с плеча на плечо, и думал: «Зачем Режиссер рассказывал мне все это? Кто я ему?.. Значит, ему надо было... выговориться, облегчить перед кем-нибудь душу».

Гордый доверием и благодарный за его откровенность, я спросил:

– А как теперь с вами?

– Написал письмо Первому секретарю ЦК КП(б) Украины Никите Сергеевичу. Жду. Сейчас, знаете ли, ему не до меня – идет война... Извините меня.

Он приподнял старенькую шляпу, чуть поклонился и ушел...

На вокзале по радио передавали победный марш, а я не мог отделаться от песни Утесова:

И камень родной омоем слезой.

Когда мы вернемся домой!..

Кто ваша жена?

Ну никуда не деться и от этого вопроса. Зрители (чаще, конечно, зрительницы) во время встреч с ними в записках на сцену или вслух из зала настаивают на ответе.

Уклониться – значит разрушить ту атмосферу доверительности, которую мне почти всегда удается создавать на этих творческих вечерах. Порой отделяюсь шутливо коротким: «Лидия Алексеевна Матвеева. Пенсионерка»...

Знаю, что такой скупостью ответа разочаровываю любопытных; сохранять же в тайне личную жизнь – это давать пищу для домыслов, легенд, сплетен...

В кино почти все сыгранные мною персонажи были мужики влюбчивые и толк в женской красоте понимали, да и актрисы, мои партнерши, были прелестницами. И вот на экране зрители видят наши объяснения в любви, поцелуи, свидания, страстные объятия... Как тут не родиться догадке, легенде? А уж если сняться с одной и той же актрисой в двух-трех фильмах, то сплетня лезет, как опара из горшка.

Так, по слухам, я побывал в мужьях у Людмилы Хитяевой – после «Поднятой целины» и «Цыгана»; у Ольги Остроумовой – после «Любви земной» и «Чаша терпения», у Вии Артмане – после «Родной крови», у Тамары Семиной – после «Воскресения», у Валерии Заклунной – после «Сибирячки» и «Особо важного задания»... И сейчас уже понесся слухок – после «Любить по-русски»: «Жена его Галина Польских»... Ничего себе гаремчик? Эдак и статью за многоженство можно схлопотать. А если серьезно, то я счастлив, что имел возможность общаться с этими яркими женщинами, самобытными талантами и умницами.

И все-таки: «Кто ваша жена?» Пожалуй, надо ответить. Может, не столько зрителям ответить, сколько попытаться подзарядить своих – дочь, сноху, внуку – тем душевным богатством, каким наделена моя Лидия Алексеевна.

Впервые я увидел ее на концерте в Тюменском музыкальном училище в конце 1946 года. Как меня гуда занесло, не помню. Скорее всего, затащил приятель, который любил поволочиться за каждой юбкой. В концерте чередовались баянист, балалаечник, вокалисты...

Исполнители были милы своей скованностью, неуклюжестью, но и искренностью, исполнительской горячностью, заметным старанием.

И вот просто и естественно – как птичка перелетает с ветки на ветку – на сцену вышла девушка. Ее не украшенный никаким гримом или побрякушками вид поразил меня... Лицо, глаза, грудь были так целомудренны, что я онемел от этого! И держалась она на сцене так, будто говорила: «Я буду петь не для вас. Я просто не могу не петь»... И без напряжения, свободно и легко полилось «Вижу чудное приволье»... Тут меня словно ударило током!..

Поженились мы 3 апреля 1947 года там же, в Тюмени. Всю тяжесть забот Лида сразу взвалила на себя – я не помню ее хнычущей, жалующейся, что-то требующей, капризной. Не помню ее и беззаботно порхающей, через край веселящейся... Наверное, оттого, что войну она испытала на себе: была работающим (и одновременно учащимся) подростком...

«Маме надо», «ребенку надо», «тебе надо» слышал я от Лиды очень часто. И никогда не слышал «мне надо»... И так продолжается до сих пор. Природа наградила ее способностью отдавать. Отдавать все: силы, время, заботу, терпение... И изредка дарить улыбку. Улыбается она нечасто потому, что мы (я, дети, внуки) привыкли от нее брать, а ей даже не всегда «спасибо» перепадает...

Не знаю, сумею ли я этими заметками выразить ей, хоть и поздноватю, всю силу благодарности за то, что она, моя бесценная Лидочка, была и есть у меня...

Демобилизовался я в конце 1946 года. Война уже кончилась, а я еще больше года топтал учебный плац. Нашего училища к тому времени уже не было – его расформировали. Курсантов тоже не было, оставались одни преподаватели. Все ждали, кого куда переведут. Насчет меня у

начальства имелись планы – направить учиться в Военную академию. Но я отдавал себе отчет, что такая карьера – не для меня. Пока шла война, я честно служил там, где было приказано, но сейчас – нет, это не мое. Мне хотелось вернуться к тому, чем я занимался до войны. А для этого надо было снова стать гражданским человеком.

Я написал письмо Александру Петровичу Довженко с просьбой посодействовать моей скорейшей демобилизации, чтобы я смог продолжить прерванное войной учение. Александр Петрович, находившийся в Москве, тормозил тамошнее военное начальство. Одновременно с Довженко обо мне хлопотала и Вера Павловна Редлих, режиссер новосибирского театра «Красный факел» (о ней я расскажу подробнее в следующей главе). Она знала меня по моим выступлениям на армейских олимпиадах, смотрах художественной самодеятельности, которые проводились в Новосибирске и на которых я получал призы. Вера Павловна уже тогда, сидя в жюри, заметила меня и решила пригласить после демобилизации в свой театр.

Но время было тяжелое – тут уж не до артистов. К мирному труду тогда возвращались люди более нужных специальностей: строители, железнодорожники, учителя. Надо было восстанавливать истерзанную войной страну, налаживать хоть как-то жизнь людей. Без специалистов крайне необходимых профессий было не обойтись, а без артистов... «Семь лет мак не родил – голода не было». Так думали тогда многие, к несчастью. Это, принимая во внимание послевоенную разруху, еще можно было понять, но когда сегодня у правительства не доходят руки до культуры – беда!

И все же Вера Павловна Редлих обратилась к командующему Западно-Сибирским военным округом генерал-полковнику Медведеву, чей штаб находился в Новосибирске. Человек высокой культуры, генерал с консерваторским образованием, он и сам понимал, что старшему лейтенанту Матвееву нужна не Военная академия, а совсем другое.

Наконец пришел приказ, я стал «вольным казаком». Но продолжить актерское образование мне не удалось – всюду опоздал. И тогда я принял приглашение Тюменского театра вступить в его труппу. В Тюмени я был уже известен: меня знали по выступлениям в концертах художественной самодеятельности нашего училища, да и мои успехи на смотрах в Новосибирске привлекли внимание руководства театра.

Меня не просто настойчиво уговаривали работать в местном театре, но... предложили играть ведущие роли. Могла ли моя голова не закружиться от этого? И пошли роли одна за другой: Фердинанд в «Коварстве и любви», Незнамов в «Без вины виноватых», Земнухов в «Молодой гвардии»...

Смешно вспомнить, но «премьер» после восторженных криков в зале и аплодисментов выходил на улицу в шинели, в кирзовых сапогах и... в шляпе!..

Успех был не оттого (это я теперь понимаю), что Матвеев – артист, а оттого, что он молод и темперамент – через край... Безоглядная эксплуатация (от чего я хотел бы предостеречь начинающих актеров-коллег) природных данных – гибель для артиста, увядание и раннее забвение зрителем...

В 1947 году проходил Всероссийский смотр молодых артистов драмы и музыкальных театров. За исполнение роли Боровского в спектакле «За тех, кто в море» по пьесе Б. Лавренева я удостоился чести стать лауреатом... Поездка в Москву... Я сомневался: надо ли ехать? Да и накладно. Но Лида говорила:

– Надо ехать, Женя. Тебе надо много видеть!..

В Москве на меня обрушилась уйма заманчивых приглашений – и из провинциальных театров России, и из столичного театра имени Ленинского комсомола, от самого Ивана Николаевича Берсенева...

Было и приглашение (повторное) из новосибирского «Красного факела»... И снова Лида уговаривала меня:

– Надо туда ехать, Женя. Тебе учиться надо!

Вот так всю жизнь: «Женя, тебе надо...» А за этим «надо» – ее терпение, самопожертвование, боль...

Так случилось, что я влюбился. Да, влюбился. Влюбился в актрису. И не в красоту, не в женственность (этими качествами и моя Лидочка обладала в избытке), а в огненный темперамент (сценический), в страсть служить театру, кино, в способность воспламеняться...

Мне казалось, что я встретил неземное чудо... Вглядываясь в ее глаза, пластику в момент исполнения роли, вслушиваясь в ее дыхание, я пытался понять: как такое может быть? какими струнами в своей душе она пользуется?

Может, это вовсе и не любовь была, а простое обожание, поклонение таланту? Как бы ни было, а загрузил я, замолчал, ушел в себя...

Вывести меня из такого странного оцепенения решила Лидка. Однажды (мама и дочь уже спали, а жили мы в одной комнате) мы улеглись в своем уголке за занавеской.

– Женя, тебе трудно? – шепотом спросила Лидка.

– Да...

– Пойдем поговорим.

Пошли на кухню. Молчали долго.

– Ты влюбился?

– Кажется – да.

Помолчали еще. Я знал – Лидка сильнее меня, она и разорвет эту тупиковую паузу.

– Тогда уходи, – сказала она ровно, не повысив голоса, но решительно. – Не мучай себя и нас...

До утра я вертелся один под одеялом, а Лидка всю ночь готовила меня в «экспедицию на съемки», как потом она сказала дочери. В чемодане уже лежали отглаженные, с накрахмаленными воротничками рубашки, белье, недочитанный том Бальзака...

Мама плакала, Светланочка, вытаращив глазенки, робко подходила то ко мне, то к Лидке... Решиться должен был я. Понимал: не переступлю порог – болезнь загоню в хроническую... Надо излечиться от тяжелого недуга... Сейчас или никогда...

Закрывая за мной дверь, Лидка сказала:

– Мы тебя подождем год... Позже не беспокой... А мы будем знать – тебе хорошо...

К Актрисе я не поехал. Две недели жил у своего приятеля, так сказать, «госпитализировался» у него... Правда, пил, часто голову держал под струей холодной воды... Решил не видеть ни Жену, ни Актрису. Смыть с себя дурь-хмурь сил хватило недели на три. Наплывом все возникали глаза Актрисы и Жены.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.